

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ



СЭР ТОПТЫГИН И ТАЙНА БОЛЬШОЙ ПЕЧАТИ

ТОВАРИЩЕСТВО ВИНОГРАДОВА

Михаил Виноградов

Сэр Топтыгин и тайна Большой Печати

<https://litres.ru/74381478>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он прочёл всё. Совсем всё, до последней виньетки, а когда честному зверю читать больше нечего, остаётся писать самому. Но не тут-то было: мир расплзается по швам, и спасти его больше некому. Старость — не радость и не повод отсиживаться дома.

В этом мире не бывает случайных слов. Тут у клятв и заповедей кто-то отъедает по одной частице — так «не убий» незаметно становится приказом, и брат идёт на брата, и каждый по-своему прав. Тут герою нельзя ни соврать, ни нарушить слово — ведь на слове всё и держится.

А Великая Печать трещит по швам, и все ищут, чем заткнуть трещину. Сэр Топтыгин идёт по ложному следу, но, кажется, уже что-то понял

Фэнтези, где магия собрана не из огня и крови, а из ремесла; где у каждого имени двойное дно, а разгадка спрятана на самом видном месте. Для тех, кто любит бумагу, старых героев и шутки, которые доходят при втором прочтении.

Содержание

Глава 1. Цена пророчества	4
Глава 2. Кровь дракона	9
Глава 3. Гордость Единственных	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Михаил Виноградов

Сэр Топтыгин и тайна Большой Печати

Глава 1. Цена пророчества

Жильё своё он звал берлогово. Слово выдумал сам и гордился им, как иные гордятся гербом.

Была это добротная берлога, врубленная в скалу венцами в лапу, без единого гвоздя — кроме одного. На том гвозде тридцать лет висел меч и понемногу зарастал книжной пылью, как зарастает лебедой честный, но заброшенный огород. Всё остальное занимала библиотека, огромная, как совесть, и упорядоченная, как расписание почтовых лошадей. Тут стоял и словарь Даля в четырёх томах, тяжёлых, будто ворота, и жития, и травники, и брошюра «О пользе овса для престарелых воинов», прочитанная дважды и оба раза с раздражением.

Так что замок сэра Михайлы Иваныча Топтыгина, кавалера ушедшей эпохи, замком, положи лапу на сердце, не был. Замок — это где запираются. А медведь жил нараспашку, как раскрытая книга, и дверей не запирали вовсе. Библиотека, полагал он, есть место общественное, а стало быть, обя-

зана быть доступной средой — и понедельником, и ещё четырьмя днями, как дырочками на пуговице. Седьмой же день он оставлял себе: сесть в тишине и перечесть написанное за неделю, ибо всё прочее на свете он уже читал.

Совсем всё. До последней виньетки. А когда честному зверю читать нечего, ему остаётся занятие, приличное его годам: писать самому. Чем он тихонечко и берложил — ежедневно, по главе, макая перо и смешно отдуваясь.

Ибо был толст.

Толст, одышлив, сед в морде и близорук до полной беспомощности. Без очков мир превращался в тёплое доброжелательное пятно, в котором ничего нельзя ни прочесть, ни зарубить. Очки берёг пуще меча. Плаща геройского не носил — носил шинель, сукно доброе, воротник кошачий. Шинель ту он в юности отбил у мелкого беса на Калинкином мосту и с тех пор считал заговорённой. А на левой когтистой лапе сидел перстень, золотой, с квадратным изумрудом — тот самый, что курчавый господин, умирая, снял с руки и отдал собирателю слов: «Возьми на память». Перстень после потерялся на сто лет, как теряется всё главное. Топтыгин его нашёл. Искру, что пробегала от него с ног до головы, медведь по нынешним годам списывал на радикулит.

А в мире было нехорошо.

Древняя Печать трещала по швам — трещала слышно, как трещит лёд под тем, кто вышел на реку в марте с полной уверенностью в себе и столь же полным пузом. Небо стояло

низкое, рыжее. В посадке мужики глядели друг на друга косо, и косой этот взгляд был страшнее любого демона: ещё неделя — и брат пойдёт на брата, и всё, как водится, из лучших побуждений.

Нужно было что-то делать.

Сэр Топтыгин перерыл манускрипты. Ответов не было. Артефактов не было тем более. Последний артефакт он лет пятнадцать назад обменял на подлинный черновик «Чистовика» Лукьяненко, который держал теперь корешок к корешку с чистовиком «Черновика», — и не жалел ни минуты, потому что вместе они составляли законченную мысль.

На седьмой день, единственный за неделю, когда дверь была затворена, у берлогова столпился народ.

Сердце ёкнуло сладко: неужто проснулся в людях интерес к чтению? Или Кристофер Нолан снял чего-нибудь по литературным мотивам — с него станется. Или марафон объявили, читательский, с призами...

— Избранный! — крикнули из-за двери. — Выходи, избранный! Больше никому!

Топтыгин вышел на порог и оглядел паству поверх очков.

— Избранность, милостивые государи, есть жанр молодых, — сказал он с достоинством. — У меня уже песок сыплется — вчера подметал. Какой я, к бесу, избранный? Я этот... который каждый день по главе пишет. Берлогер! Ступайте с богом, у меня выходной.

И затворил дверь.

А после долго стоял перед зеркалом в сенях: толстый, седой, в очках, вылитая пенсия. Снял очки — стало помоложе. Надел — стало почестнее.

— Ну и кто, — спросил он у зеркала, — пойдёт-то?

Зеркало промолчало. Медведь снял с гвоздя меч, надел шинель и потопал на болото. Ибо оставалась одна ведьма. При каждом деле, как говорится, есть случайная ведьма.

Жила она на обочине бульварной литературы, в сырой низине, где туман пах сладковато, тепло, чуть травяно — ванилью и подсохшим сеном. Запах дурной породы и дешёвой бумаги, которая желтеет раньше, чем её дочитают.

Звали ведьму Тишь Доглядская. Двадцать её романов не взяло ни одно издательство, ни доброе, ни злое, а выкладывала она их всюду: то на пенёк, то на опушку, то в дупло. Читали её только жабы из чата лягушатника — того, куда днём сдают лягушат, дабы освободить время для сплетен. Жабы квакали дружно: «до мурашек», «когда продолжение, солнце наше».

— А, — сказала Тишь, не вставая с кочки. — Медведь. Тоже пишете. Всё в стол?

Топтыгин помолчал. Для писателя вопрос этот — почти пощёчина.

— В стол, — сказал он честно.

— Чего надо?

— Про Печать, сударыня. Где шов. Чем держат.

— Знаю. Все знают, только никто не читал. Даром не ска-

жу.

— Золото? Перстень не отдам, прочее берите.

— На что мне золото в болоте. И вообще я не такая, — усмехнулась она. И столько в усмешке было ржавой, застарелой обиды, что медведю сделалось неловко, будто вошёл без стука. — Прочтите меня. Все двадцать томов, от корки до корки, не по диагонали — я замечу. Лайк под каждым. И отзыв. Честный. Вслух, при всех, с именем и аватаркой.

Топтыгин снял очки. Помолчал. Двадцать романов — это, если по-честному, месяца три жизни, а жизни оставалось не так чтобы вагон.

— А ежели плохо написано? — спросил он тихо.

— Тогда скажете, что плохо, — ответила Тишь ещё тише. — Меня тридцать лет хвалят. Меня ни разу не читали.

И медведь, крякнув, полез в шинель за очками — потому что клятв он не нарушал никогда, а эту цену, единственную из всех, заплатить должен был.

Глава 2. Кровь дракона

Дочитав девятнадцатый том до середины (честно дочитав, не по диагонали, ведьма бы заметила), сэр Топтыгин наскочил на сцену проходную, из тех, что пишутся левой лапой, между делом. Героиня шла мимо развалины, и развалину эту Тишь зачем-то описала подробно, безо всякой нужды для сюжета: пять гнёзд, вырубленных в камне, и в них должно лежать пять вещей — литеры, киноварь, бумага, стан и слово. А внизу страницы стояла приписка, похожая на авторский вздох: собрать их сможет лишь тот, кто прочёл всё.

Медведь снял очки. Протёр. Надел. Прочёл ещё раз.

Гнездо — не шкатулка. Гнездо — это паз, куда садится шип. Топтыгин, тридцать лет назад рубивший себе дом без единого гвоздя, узнал слово сразу. Под литеры — с ладонь. Под киноварь — с напёрсток. Под бумагу — стопа. А под стан — четыре ямы по колено, и вынуть из них ничего нельзя, потому что стан не носят. Он оттого и стан, что его ставят. Сорок пудов, распёртых между полом и матицей.

Выходило, стало быть, что Печать — не запор и не пломба. Печать — фундамент.

Так он тогда подумал. Он ошибался, но об этом после.

Выходило и другое: чинить ему. Не сильнейшему, не чистейшему — начитаннейшему, а таковых в подлунном мире оставалось ровно одно толстое лицо в шинели. Даже Тишь

своего девятнадцатого тома не пересчитывала: написала, выложила на пенёк и села ждать лягушачьих мурашек.

— Сударыня, — сказал Топтыгин в потолок берлогова. — Вы, оказывается, пророчица.

— Я знаю, — донеслось с болота. — Жабы говорили.

Так и вышло, что через два дня по дороге на полдень тащи́лась телега, гружённая двадцатью томами. Телегу тащи́ла кобыла Кустода. На телеге сидела ведьма и правила рукопись, которую никто не просил. А рядом шёл пешком медведь, ибо коня, способного его выдержать, природа за всю свою долгую службу так и не вывела.

Три дня тащи́лась Кустода и дотащи́лась.

Выжженные земли начались сразу, без предисловия, как начинается дурная новость. Пепел лежал ровно, будто снег в оттепель, серый и слежавшийся, и на кривом оплавленном столбе кто-то давно и аккуратно вывел цифры: 451. Не росло ничего, кроме лопуха, да и тот рос виновато.

И вот из этого пепла, безо всякого ветра — ветра не было вовсе, воздух стоял, как стоячая вода, — начали подниматься страницы.

Сперва одна. Потом три. Потом сотня.

Они всходили медленно, обугленные по краям, чёрные, невесомые, и, поднявшись в рост человека, принимались кружить. Не летели — кружили, попарно, чинно, соблюдая фигуру, как соблюдают её на большом балу, где все друг друга знают и все давно умерли. Слышался сухой шелест, будто

кто-то за плечом перелистывает книгу, ища место и не находя. На каждой странице проступали буквы — но не там, где стояли прежде: они сползались к середине, сбивались в комки, и в комке этом было такое напряжение смысла, что смысла не оставалось вовсе.

Топтыгин снял очки.

Без очков сделалось хуже. Стало видно не буквы, а общее движение, и в движении том ясно читалось, что они кого-то ищут. Ходят, шелестят, заглядывают в лица. Ищут того, кто прочтёт.

— Не гляди на них, — сказала Тишь очень ровным голосом. — Медведь. Не гляди.

Он поднял очки к глазам кончиком когтя — так поднимают веки тому, кто сам поднять не может, — и посмотрел прямо.

И страницы увидели его.

Весь пепел встал стеной, и стена пошла на него, шелестя, суясь под шинель, лезя в морду, лепясь к стёклам, и каждая просила одного: прочти, прочти, прочти, меня не дочитали, меня не дочитали ни разу.

— Читаю! — заревел медведь, зажмурившись, и голос пошёл по пепелищу, как по пустой церкви. — Слышите? Читаю! Всех! По очереди!

И всё легло.

Легло разом, мягко, и стало тихо, и он стоял по колено в пепле, седой, в шинели, и дышал так, что телега слышала.

— Вот с этого, — сказал он, отдышавшись, — и начинается Хаос. Не с рогов. С непрочитанного.

Посреди пепелища стоял остов. Прежде это была типография — большая, добрая, в два света, — а теперь торчали стропила, как рёбра, и в проломе виднелся упавший стан, чёрный и тяжёлый, будто утонувший корабль. Именно здесь, по всем приметам, и обитал последний потомок Дракона.

Про Дракона медведь знал по книгам, а по книгам он знал всё. Дракон был велик. Дракон был ужасен. Дракон изрыгал пламя, и от пламени того города вставали заново — впрочем, тут летописцы путались: одни писали «жѣг», другие «печатал», ибо на старом наречии друкаръ и дракон звучат почти одинаково, а народ, как водится, выбрал что покрасивее. Дракона боялись. Дракону кланялись. Дракона в конце концов сожгли вместе с домом, и он ушёл на полдень, и умер на чужбине, и на камне у него вырезали, как умели:

ДРУКАРЬ КНИГ ПРЕД ТЫМ НЕВИДАННЫХ

Медведь знал эту надпись наизусть с юности и всякий раз, вспоминая, снимал шапку. Снял бы и теперь, когда бы был в шапке.

Потомок сыскался под четвёртым стропилом. Он был размером с крупного барсука.

Чешуя облезла и висела ключьями, как обои в нежилой квартире. Крылья складывались неровно, одно топорщилось спицами — точь-в-точь зонт после честного боя с ветром. Из ноздрей шёл дым, но не пламя, а тот жидкий папиросный

дымок, какой идёт от человека, курящего сорок лет без всякого удовольствия. На шнурке через шею висела лупа. Спал он в наборной кассе — в свинцовом ящике о сотне ячеек, свернувшись между литерами, и литеры под ним потеплели: единственное живое тепло на всё пепелище.

А когда он повернулся, медведь увидел, что на брюхе и боках у него отпечатались буквы — вдавленные, зеркальные, налёгшие друг на друга невпопад. Топтыгин, будучи начитан, прочёл их машинально. Слова складывались. В том и была беда, что складывались, — но ни одно не принадлежало ни одному из известных ему языков, а известны ему были все. И всё же они что-то значили: у них была грамматика, были окончания, попадались, если приглядеться, ласковые уменьшительные.

Старый дракон триста лет ворочался во сне и наспал на себе целый язык, на котором никто никогда ничего не сказал.

В правой лапе он держал красный карандаш.

— Не топчись, — сказал потомок Дракона, не открывая глаз. — Пепел поднимаешь, а у меня корректура.

— Простите великодушно. Михайло Иванович.

Дракон приоткрыл один глаз, мутный, в жёлтой плёнке.

— Фёдор Иванович. — И, помолчав: — Тоже Иванович? Как брат, значит. Что надо?

Медведь вспомнил посад, и косые взгляды, и «ещё неделя — и брат пойдёт на брата», и ему сделалось нехорошо, будто пришёл занимать денег.

— Крови, — сказал он честно. — То есть киновари. Кровь дракона, смола, красная строка. Ею начинают новый абзац.

— Знаю, чем её начинают. Я ею триста лет начинал.

Он завозился, кряхтя, полез поправить лупу — и медведь увидел на среднем пальце его правой лапы чернильно-серую мозоль, твёрдую, отполированную, какая набивается за десятилетия у тех, кто пишет много и не бросает. А ещё увидел, как дракон, прежде чем ответить, беззвучно проговорил фразу губами: проверил на слух, как пробуют ногой лёд.

Точно так же — до наклона головы — делала на кочке Тишь Доглядская.

Медведь моргнул. Он был близорук, но не слеп.

— Печать чинить иду, — прибавил он. — Заделать шов, и дело с концом.

— Заделать, — повторил Фёдор Иванович и посмотрел долгим жёлтым глазом. — Ну-ну. Литера, Михайло Иванович, изнашивается. Отпечатал тыщу — она и поплыла. Лить надо заново. Всякий раз заново, понимаешь? Оттого и говорят: печать не ставят однажды.

— Это ты к чему?

— Это я так. Стариковское. Отдам киноварь, чего уж. Только сперва вон ту убери из моего пепелища.

Тишь стояла в проломе. Рукопись она держала обеими руками, прижав к груди, как держат ребёнка на ветру.

— Ты, — сказала она.

— Я, — сказал дракон.

— Двадцать раз. Двадцать раз, гад.

— Девятнадцать. Двадцатую ты не присылала. Двадцатую ты сразу на опушку.

И тут медведь понял, и понимание упало ему на плечи, как мокрая шинель.

Он был единственный. Единственный во всём подлунном мире, кто её прочёл. Все девятнадцать, от корки до корки, не по диагонали. Прочёл — и отказал. Именно потому и отказал, что прочёл: жабы в лягушатнике хвалили, не открывая, — им и открывать было нечем, у них лапки. А он открывал. Он один тридцать лет исполнял по отношению к ней обязанность настоящего читателя: говорил «нет», когда «нет».

И рукописи её лежали здесь, в свинце, в выжженной земле, — и не сгорели, потому что свинец не горит и рукописи не горят.

— Я тебе письмо писал, — сказал Фёдор Иванович. — К девятнадцатой. Двенадцать страниц. Про то, где у тебя живое, а где ты стараешься.

— Не читала, — сказала Тишь. — Увидела на конверте «Уважаемая» — и в болото.

Ветер прошёл по пепелищу и поднял стаю обугленных страниц.

— Ну вот, — сказал дракон совсем тихо. — А говорила, тебя не читают.

Он погромел в касе и вытащил склянку тёмного стекла, тяжёлую не по размеру. Внутри качалась густая красная

тьма.

— Держи. Красная строка. Дают её только тому, кто согласен начать сначала.

Медведь принял склянку двумя лапами. Изумруд на пальце дёрнул искрой — от лап до головы, и на радикулит это уже никак не списывалось.

— Чем обязан?

— Ничем. Даром. — Дракон пожевал губами свою фразу и лишь потом выпустил наружу: — Рукопись покажи.

Топтыгин, багровея, извлёк из шинели тетрадь. Тридцать лет в стол — и отдал, как отдают руку хирургу.

Дракон надел лупу. Читал долго, шевеля бровями. Взял карандаш — и впервые за двадцать лет что-то поправил. Одну страницу. Три знака.

— Вот тут запятая. Вот тут ты испугался и приписал «как бы» — вычеркни, ты не как бы. А здесь, — он ткнул когтем, — здесь у тебя настоящее. Отсюда и печатай.

У медведя защипало под очками, и он сделал вид, что это пепел.

— Ступайте. Ступайте, а то разволнуюсь, а мне нельзя, у меня сердце с одна тысяча пятьсот шестьдесят четвёртого года.

Они пошли. У пролома медведь обернулся.

— Фёдор Иванович. Седьмую главу я тебе принесу сам.

— Неси. Вычитаю. Бесплатно. — И, помолчав: — Дотяну.

А когда телега тронулась, старик приподнялся на локтях

и крикнул им вслед, в пепел:

— Ты, главное, не крышку ищи! Крышку всякий дурак найдёт!

Медведь не понял и оттого рассердился.

Тишь Доглядская задержалась на шаг. Она стояла к дракону спиной, и видно было только, как шевельнулись её губы — беззвучно, проверяя фразу на слух.

И в ту же секунду, в тридцати шагах, точно так же шевельнулись губы старого корректора.

Они проговорили одно и то же. Медведь, будучи начитан, разобрал по губам без труда — первую строку девятнадцатого романа, той самой книги, где про пять гнёзд в камне:

«Снег шёл всю ночь, а под утро перестал, и стало слышно».

Он держал её в памяти тридцать лет.

И она держала.

И оба молчали об этом всё это время, потому что сказать вслух было некому: у неё — жабы, у него — свинец.

А пепел лежал вокруг ровно, как тот самый снег, и было слышно.

Глава 3. Гордость Единственных

Граница была видна простым глазом: там кончался пепел и начиналось стекло.

Топтыгин остановился на последнем шаге выжженной земли и поглядел под ноги. Пепел лежал ровно. А поверх пепла, тонким слоем, лежала шелуха — семечковая, серая, чуть маслянистая на изломе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.